

Мы – свои

Как-то одна знакомая рассказала при мне, как изменилось к ней отношение, когда узнали о ее выдающемся дедушке. И я вспомнила, как однажды, в конце войны, во время затемнения, мы возвращались после вечерней смены из школы – я, моя сестренка и еще одна девочка, одноклассница. Нас окружили подростки, постарше нас, хулиганского вида. Время было такое, что всего можно было ожидать. И вдруг один из них говорит другому: «Отпусти их, это тети Манины дочки». И они отошли. Наша маму все в Останкино знали. Она была простым человеком, не имела профессии, но помогала всем, кто только нуждался в помощи. К ней ходили советоваться, занять денег – хотя мы были нищие. Мама могла у тети Шуры занять, а тете Даше дать, потому что той уже займы не давали. Кроме того, она умела ставить лечебные банки – и ставила их по всему Останкино. Мама тогда, как я теперь понимаю, была еще молода: она родилась в 1900 году. Я помню все, что с ней связано, и рассказывала о ней много своим внукам. Один внук сказал: «У тебя очень странная ментальность, и странная у нас была бабушка Маня». Об этой «странности» будет весь мой рассказ. Во время войны мама работала в цехе, где делали ящики для снарядов. Туда нас, детей, не пускали. А потом они стали делать что-то другое, секретность сняли, и мы с сестрой ходили помогать – у мамы была сдельная зарплата. Папа у нас погиб в ополчении под Вязьмой, нам прислали землю с его могилы... Однажды я была у мамы в цеху. В это время прибежал со своим товарищем один рабочий и, не заметив мамы, стал последними словами бранить другого. Тут мама поднялась из-за ящиков. Рабочий смутился и сказал: «Теть Маня, извини. Я не знал, что ты здесь». Такое к ней было отношение. При ней не ругались, хотя мама никогда никому не делала замечаний, никого не поучала и была тихой, спокойной женщиной. Маму звали Маня Мордуховна Рихтер (1900–1970), папу – Фридман Аронович Харах (1893–1941). Мама была из Гомеля, а папа из Слуцка. Маму очень огорчало, когда ей в похвалу говорили, что она как будто и не еврейка. В Останкино мы жили в убогом домишке, соседей во дворе было девять семей, и все были разные. Было несколько смешанных семей – русские с евреями, с украинцами. Хозяин дома был татарин. Все помогали друг другу. Я даже считаю, что в войне выжили только благодаря взаимопомощи. Знаете, как у нас было в Останкино? Если свадьба у кого-то, то, не спрашивая согласия, просто говорили: «У вас гости будут оставлять одежду. А вы дайте стулья. А здесь будут спать». Около 1960 года мама вышла на пенсию, и времени для других у нее стало больше. Первого сентября, например, мама надевала свою единственную нарядную кофточку, а я, приезжавшая уже из Ленинграда, с удивлением спрашивала, что за праздник. Мама говорила: «Так ведь первое сентября». – «А кто у тебя начинает учиться?» – «Зинкина девочка идет в школу». Мама ее отвела, а потом привела домой. Так у нас было принято. Если тетя Маня не работает, значит, и этого отведет, и того. Никаких денег никто никому не предлагал и тем более не просил. По соседству жила татарская семья, с младшими членами которой моя сестра до сих пор поддерживает отношения, и они через нее шлют мне приветы. Двадцать лет жили с ними в одном дворе до войны, да и после. У них бабушку парализовало. Кто будет ухаживать? Считалось, что если наша мама не работает, то и нечего спрашивать. Они были нищие. Их дети у нас и ели, им отдавали одежду, а сестра моя готовила с ними уроки. А они? Я колю во дворе дрова, зайду домой напиться, а они в это время мне дров подколют. Или, когда меня уже в доме не было, мама находила, что ей из колонки принесли воды, наполнили бак. Ахмеева-бабушка, бабушка Ахмеиха, как ее звали, по-русски говорила плохо. А дочка у нее была Хадича, мы ее Катей звали. Мы знали их родственников, они – наших, в общем, жили, как люди. Когда я, тогда еще студентка мединститута, приезжала на каникулы, мама мне всегда находила работу: «Послушай Ахмееву, послушай тех, этих». А когда мне уезжать, Ахмеиха приходила, в руках держала перчатки, или варежки, или носки связанные, яйца вареные и сушки и говорила: «Больше, Лида (она меня Лидой звала), больше у мена ничего нет». И вот мама, которая ухаживала за парализованной Ахмеевой-бабушкой, за чем-то сходила домой, а в это время бабушка умерла. Мама очень сокрушалась, говорила: «Мы столько лет жили вместе – я должна была ей закрыть глаза». На похороны к ним приехал мулла. Сестра рассказывала (меня тогда не было), приехал на «Чайке», был в прекрасном сером костюме. Они позвонили, мама пошла открыть дверь и, увидев муллу, опешила, испугалась: может, она что-то не так делала? Мулла сказал по-татарски, а Катя перевела: «Пойдем к нам». Мама, понимая, что зовут на мусульманский обряд, сказала: «А нам нельзя, я же знаю». Мулла ответил, и Катя снова перевела маме: «Он говорит, что тебе – можно». Это, конечно, было очень трогательно, и мама сказала: «Нас разделяет не Бог». Мама была мягкий человек, но она нас, меня и сестру Фаню, замотала: то мы должны были этому помочь, то кабачки кому-нибудь отнести – ведь у нас, конечно, был огород, без которого мы не выжили бы в годы войны. Мы с сестрой, которой в 1941 году было восемь лет (я на три года старше) его и обрабатывали. Папа, когда уходил на войну, сказал, что я остаюсь за старшую, и показал мне

пилу, лопату, топор, объяснил, как обходиться с курами (у нас был курятник). Я отнеслась ко всему серьезно. Мы с сестрой пилили дрова, я их колола. Если пила не шла, я обвиняла сестру, у которой не хватало силенок, и мы дрались. Или дрались, если гасла коптилка. Мама у нас устроила детский сад. Садики не работали, и к нам приводили младших детей, четырех-пяти лет. Они приходили со своими мешочками с завтраком и с горшочками. Я им читала, играла с ними, учила их играть в карты. Когда неподалеку бомба попала в проходивший товарный поезд, у нас вылетели окна и двери. Дети сидели как раз на горшках. Они вскочили и уткнулись мне головами в живот, голыми попками наружу. Прибежал сосед, дядя Саша Кондрашов, успокоил, навел порядок. Дядя Саша был «раскулаченный». Когда колонну этих несчастных гнали из Смоленской области через Останкино, тетя Шура, его будущая жена, еврейка, подобрала его – он, больной, обессиленный, просто лежал в придорожной канаве. Такой красавец оказался! И мастер на все руки, и добрый. Мама однажды повредила ногу, и дядя Саша на руках отнес ее к врачу. Только маму очень огорчало: «Он не любит советскую власть». У него же были все основания для этого. В Останкино он делал чудеса: кому пристроит веранду, кому квартиру. Участковый милиционер заходил к нему с проверкой и выходил довольный: с деньгами, выпив и закусив. У дяди Саши и тети Шуры было двое парней, и им доставалось за то, что мама еврейка. Они страшно переживали, дрались, однако и маме своей черт знает что говорили. Но... оба в дальнейшем женились на еврейках. До того, как тетя Шура стала Кондрашовой, она жила в прислугах у нашего хозяина, на чердаке. На этот чердак она и притащила спасенного дядю Сашу. И никто не донес, а наоборот: помогали выхаживать. Вот были люди какие. Вообще же в Останкино мы не знали антисемитизма. Если в школе один мальчишка что-нибудь такое скажет, то от другого получит. Папа и мама были очень простые люди. Папа работал электросварщиком. В начале Первой мировой, в 1914 году, попал к немцам в плен и до 1924 года находился в Германии. В ополчение 1941 года папа, которому было уже 48 лет, ушел добровольцем. Ополченцы уходили не одетые, необутые, безоружные, без продовольствия. Мама и еще несколько женщин в Останкино собирали для них теплые вещи и возили под Вязьму. В папином подразделении на всех была одна винтовка – образца 1891 года. У нас такая была потом на военной подготовке, когда я училась в мединституте. Папа, солдат Первой мировой, учил ополченцев, как пользоваться этой винтовкой. Их часть была полностью уничтожена немцами. В 1947 году приехала к нам из Ленинграда мамина сестра Софья. Жилось нам очень трудно, и все говорили: после школы в техникум надо поступать, тут не до высшего образования. Но мне этого не хотелось. Тетя сказала: «Поехали со мной, поступишь в Ленинграде, будешь учиться, поживешь у меня». Я поехала с ней и поступила в мединститут. Тогда, в 1947-м, «пятая графа» (национальность) мне не помешала, хотя я на экзаменах получила и не самые высокие баллы: две «пятерки» и две «четверки». При всем государственном и бытовом антисемитизме в Советском Союзе, не всегда это было так. Например, в 1943 году, когда я только что вступила в комсомол, меня включили в делегацию московских школьников, которые собрали деньги на танк для Красной армии. Нас отправили под Калинин, где мы должны были передать этот танк бойцам. И моя тогдашняя фамилия, Харах, не помешала. Помню, как мы были счастливы, когда на фронте нас в первую очередь хорошо накормили. Потом нас катали на подаренном нами танке Т-34. Всем дали каски, а мне не досталось, и я в танке сильно ударила головой, потом была шишка. Нам сказали, что вечером будет еще и ужин, мы страшно радовались. Но вдруг на передовой началась заваруха, и было приказано нас немедленно отправить домой. Сталинские репрессии не прямо, но все же коснулись и нашей семьи. До войны у нас жила девочка по имени Лира, дочка маминых репрессированных земляков. Нам, детям, не говорили, где ее родители. Отец моего мужа Владлена был репрессирован в 1937 году. Он был начальником шахты «Анжерской» в Томской области. Жена, мать моего мужа, осталась с четырьмя детьми на руках. Годы спустя Владлена исключили из института в Ленинграде – за то, что не сообщил, что он сын репрессированного. Мой будущий муж перешел в кораблестроительный институт и окончил его в 1955 году. Когда Владлен уже работал в секретном конструкторском бюро и там узнали, что он встречается со мной, еврейской девчонкой, его предупредили: это не позволит ему продвигаться по службе, и его не примут в партию. Владлен ответил, что он без этого перебьется. Все годы нашей совместной жизни мои родные были для него близкими людьми, и никогда между нами не было и тени непонимания из-за национального различия. Антисемитизм, конечно, всегда нас ранил, даже когда сказывался не явно. По окончании мединститута я проработала три года по распределению в Выборге. Тут на выборгскую больницу было дано одно место в клинической ординатуре. Предложили мне. И я несмотря на то, что фамилия моя была уже не Харах, а, по мужу, Биякова, – поступала туда трижды. И безуспешно. В институт я поступила в 1947 году. Тогда была еще карточная система. Жила в общежитии. Можете себе представить, что, прожив шесть лет в одной комнате, мы с девчонками остались друзьями. Вот Роза Омеляненко. Она приехала из Киевской области, где школу окончила с медалью. По-русски с трудом говорила, но в институте училась хорошо. А потом сорок лет проработала главным врачом в

крупной чешской больнице. Нельзя забыть нашей дружбы в те скучные времена. В общежитии я как-то была больна, отошла за чем-то, а Розка воспользовалась и положила мне в кашу своего масла. В комнате нас было пять человек. Мы учились в то время, когда громили генетиков, «космополитов», увольняли лучших профессоров, были и аресты. Но в нашем институте не было доносчиков. В 1952 году власти сфабриковали известное «дело врачей», гонения на евреев усилились повсюду. У нас, на институтском комсомольском собрании, на котором присутствовал директор, генерал по фамилии Иванов (имени не помню), единогласно выбрали секретарем комитета комсомола студента Зильбера. Иванов заявил: «Зильбера – нельзя!». Все кричали: «Зильбера!». Директор стоял на своем. Тогда Ритка Бурова, девчонка из нашей комнаты, вышла на сцену, стала спиной к президиуму и сказала: «Ребята, вы не видите, что Иванов фашист?». Отец у нее сидел по 58-й статье, потом его выпустили, и он вскоре умер... В конце собрания, как полагалось, запели «Интернационал». Нервы мои не выдержали, и я заплакала. После собрания Иванов зачем-то пошел к нам в общежитие. Там он распоряжался, стоя на лестнице, а я стояла ступенькой выше него. К счастью, рядом со мной стоял Лешка Петров. Он видел мое побелевшее лицо, видел, что я готова столкнуть Иванова с лестницы. «Что ты!» – сказал он мне, и я опомнилась. В другой раз он меня защитил. В студенческие годы мы все подрабатывали – я, например, в детских яслях, гардеробщицей, истопницей, а парни ходили на станцию разгружать товарные вагоны. Я также работала санитаркой у врача-логопеда Сахарова. Однажды Лешка, проходя по улице мимо его кабинета, увидел в окно, как Сахаров пытается меня обнять. Он ворвался в кабинет. Потом Петров работал врачом в «Крестах» и помогал диссидентам, которых заключали туда как якобы психически больных. ...Так случилось, что два года спустя после смерти мужа (Владлен умер от инфаркта в Ленинграде в 1992 году) я потеряла и сына. Жизнь, казалось, уже не имела для меня смысла, и когда (это было в мае 1995 года) мои друзья позвали меня в ресторан в честь Дня Победы, я сказала, что мне не до праздников. Но они возразили, что это праздник особый, «со слезами на глазах». Я пошла с ними, и хорошо сделала. На этом вечере я встретила Бориса Литмановича, который вернул меня к жизни. Деликатный, выдержанный человек, прошедший огонь и воду. Во время войны он под Киевом попал в немецкий плен, бежал из поезда, скитался, оказался в Париже – и там попал в тюрьму. После войны Борис окончил институт, был киноинженером, жил в Киеве. Мы с ним совершили большую поездку по всем местам его военных скитаний: где он сидел в тюрьмах, где работал в немецкой шахте. Проехали Германию, Бельгию, Голландию, Францию и везде находили следы его пребывания. Я удивлялась выдержке Бориса. У меня наготове были таблетки, но он нигде не потерял самообладания, и наша поездка окончилась благополучно. Мы с Борисом прожили пятнадцать лет. Восемь лет здесь, в Реховоте, – нянчили моих внуков, а потом переехали в Бат-Ям, занимались его внуками. Бориса нет вот уже четыре года, но его родные стали и моими родными. А с друзьями по институту у меня до сих пор самая тесная связь. Когда-то Борис мне сказал, что, если б ему рассказали, что так могут жить старые дружбы, он не поверил бы. Мы с ним трижды ездили на встречи с моими однокурсниками в Ленинград. В его опыте этого не было. С детства и по сегодняшний день дружу с Галей Гастевой (в прошлом Кучай). Теперь она в Америке, очень болеет. Ее муж, Юрий Гастев, математический логик, работал с академиком Сахаровым, был диссидентом, сидел в тюрьме. Когда я бывала у Гали и Юры в Москве, он давал мне для передачи в Ленинград запрещенные книги. Ведь тогда был запрет и на Платонова, и на Булгакова. Это были 1970-е годы. Я говорила Юре: «Я боюсь». А он отвечал: «Будете бояться, всех пересажаяют». В подъезде у них всегда сидели, а то и лежали на полу шпионы. А однажды Юра меня провожал до метро, а сзади шел «топтун». Юрка обернулся и говорит: «Слушай, отстань. У нас бытовой разговор». На вокзал он принес мне стопочку книг. Как не раз говорила моя мама, нам везло с людьми, и как бы тяжело мы ни жили, нам не приходилось никого расталкивать локтями. При нашей трудной жизни, нам было комфортно в душевном отношении. Теперь, мне кажется, хуже стало, хотя и среди людей новых поколений есть такие, как Софа, дочь Бориса, – «нормальные» люди. Или Тамара Менделеева, с которой я дружу вот уже двадцать лет. Познакомились в парке. Только посмотрели друг на друга, как поняли, что мы свои.